

Н. Н.
ЗЛАТОВРАТСКИЙ

Избранное



Николай Николаевич Златовратский

Тургенев, Салтыков и Гаршин

«С Тургеневым мне пришлось встретиться при несколько исключительных условиях. Это было, кажется, в начале 80 года, когда был основан „молодой“ группой сотрудников „Отечественных записок“ небольшой „артельный“ журнал „Русское богатство“. Помнится, молодая редакция решила просить Тургенева, через Г.И. Успенского, бывшего в то время за границей и выдававшегося с ним, прислать что-нибудь для нового журнала...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0021

**Николай Николаевич
Златовратский
Тургенев, Салтыков и
Гаршин**

С Тургеневым мне пришлось встретиться при несколько исключительных условиях. Это было, кажется, в начале 80 года, когда был основан «молодой» группой сотрудников «Отечественных записок» небольшой «артельный» журнал «Русское богатство». Помнится, молодая редакция решила просить Тургенева, через Г.И. Успенского, бывшего в то время за границей и издававшегося с ним, прислать что-нибудь для нового журнала. Тургенев, ввиду известных натянутых отношений между ним и «молодым поколением», начавшихся еще с «Отцов и детей» и не рассеявшихся даже после «Нови», был, говорят, особенно тронут этой просьбой. Он тотчас же передал в редакцию, на первый раз, небольшое стихотворение «Игра в крикет в Виндзоре» (в журнале не напечатанное по цензурным условиям, как говорили ввиду дипломатических соображений). В это же время Тургенев выразил желание ближе сойтись и познакомиться с «молодым поколением», на первый раз в лице редакции нового журнала, и

протянуть друг другу руки в знак «примирения». Это «слияние» и должно было произойти в первый же приезд Тургенева в Петербург. Помню, о предстоящем свидании шли среди молодых литераторов большие разговоры: «ригористы» решительно протестовали против такой «слабости», а тем более против того, чтобы самим брать на себя инициативу этого свидания. Споры обострились еще более, когда стало известным, что Тургенев никак не может сам прийти в редакцию (или к кому-либо из членов ее), так как вследствие подагры был не в состоянии подниматься на верхние этажи. Требовалось устроить подобающую обстановку свидания. Решено было воспользоваться гостеприимством одного богатого золотопромышленника. Для большинства соблазн побеседовать по душе с «большим» писателем (а побеседовать в то время было о чем) был настолько велик, что оно не устояло и приняло эту комбинацию.

В назначенный час я, в сопровождении товарища, двинулся на званный вечер в салон г. N. Признаться сказать, до такой степени большинство из нас, разночинских литераторов,

было робко, дико, застенчиво, что одно только антре (вход (фр.)) салона привело нас в полное смущение, а когда мы вошли в богатое большое зало, убранное тропическими растениями, когда увидали впереди стоявшее отдельно кресло, а вокруг него целый ряд стульев, уже наполовину занятых не известной нам публикой, как будто ожидавшей выхода на эстраду знаменитого певца или музыканта, мы смутились окончательно и сгрудились в сторонке около входной двери. Очевидно, нас ожидало впереди вовсе не то, на что мы рассчитывали. В публике говорили вполголоса, сам хозяин постоянно подходил к лестнице и смотрел вниз, чтобы не пропустить момент приезда гостя. Во всем чувствовалось что-то необыкновенно торжественное. Вдруг зазвенели по всем комнатам электрические звонки. Хозяин сорвался с места и бросился к лестнице, за ним поднялась хозяйка. Глаза всех напряженно обратились к дверям. По лестнице поднималась величественная седая фигура Тургенева. Джентльмен с головы до ног, безукоризненно одетый, изящный и любезный, с свободно величавыми жестами, он,

как истинный «король» литературы, широко-ми, твердыми шагами прошел к приготовленному для него месту. Публика заняла полукруг стульев вокруг него, и Тургенев, как воспитанный общественный человек, давно привыкший ко всевозможным салонам, тотчас, кажется, понял свою роль. Пока публика терялась, не зная, с чего начать разговор, он сразу взял все дело в свои опытные руки и начал свободно, оживленно и остроумно рассказывать о своей заграничной жизни, о встречах с разными особами; затем, мимоходом, упомянув о современных русских делах, выразил сожаление об «обоюдных крайностях» и, наконец, как-то совершенно неуволимо перешел к характеристике «народа», который, по его мнению, растет не по дням, а по часам, и мы не заметим, когда он будет совсем большой. Как иллюстрацию этой мысли, он бесподобно передал два эпизода из своей деревенской жизни.

В первом он рассказал уморительную сцену встречи важной особы.

Публика долго смеялась, прежде чем Тургенев, с губ которого не исчезала все время

тонкая ироническая улыбка, перешел к другому рассказу.

– А вот это уже недавно было. Заехал я побывать в свое старое имение. Думаю, посмотрю, как-то там, что осталось от старого, – все же была старая поэзия, воспоминания... Признаться сказать, холодно почувствовалось, сиротливо, неуютно... Да оно так и должно быть!., так и должно быть!.. Велел это я старосте вынести на террасу самовар; сел один, пью чай... Вот вижу: двигается неторопливо к дому молодая деревня, все ближе и ближе. Смотрю: пиджаки, сапоги с наборами, глянце-м так и прыщут, на головах картузы, словно накрахмаленные, натянуты, – идут, зернышки погрызывают, скорлупки на стороны побрасывают. Подошли, остановились невдалеке от меня. Смотрят; глаза веселые, бодрые. Приподняли, не торопясь, над головами фуражки, опять, не торопясь, аккуратно надели.

– Ивану Сергеичу-с! – говорят.

– Здравствуйте, господа.

– Разгуляться, значит, к нам приехали?

– Да.

– Соскучились по родной стороне?

– Соскучился.

– Поди, не весело теперь здесь?

– Вот посмотрю.

– Тэ-эк-с! Я не припомню хорошенько всех характерных деталей разговора, да и не в этом собственно дело было, а в том непередаваемом тоне, с которым он велся и воспроизвести который мог только такой неподражаемый рассказчик, как Тургенев. Он действительно был неподражаем. Я, конечно, и сотой доли не могу теперь передать тех тонких черт, характерных выражений, неуловимых деталей, с которыми передавал оба рассказа Тургенев.

– Стоят, зернышки грызут, скорлупки на сторону побрасывают, – повторял Тургенев. – «Счастливо, говорят, оставаться, Иван Сергеевич!»

– Ну, мыслимо ли было что-нибудь подобное двадцать лет назад!

Иван Сергеевич иронически добродушно улыбнулся, публика была в восторге. Присутствовавшие тут некоторые редакторы и издатели тотчас же набросились на Тургенева с просьбами «непременно», «обязательно» во-

плотить эти «чудные вещи» в перл создания и, конечно, вручить для напечатания в их журналах.

– И, имея такой неистощимый запас творчества, вы, Иван Сергеевич, так скупое нас дарите своими произведениями! – восклицали они, – это – просто грешно!..

– Э, господа, – сказал Тургенев, – вы нас, писателей, плохо знаете. Рассказать что-нибудь забавное в игривом тоне – это вовсе не так трудно, а воплотить этот же рассказ в художественном произведении – это большое дело! Вот я вам сейчас рассказал два эпизода, вам понравилось, а попробуй я их сейчас же, придя домой, передать на бумаге, я уверен, что ничего не выйдет, даже строчки не напишу!..

Разговоры в том же направлении продолжались еще несколько времени.

Наконец, Тургенев громко поднялся: очевидно, «сеанс» был кончен. За ним шумно поднялась публика, и только теперь Тургенев, повидимому, вспомнил, что у него с кем-то должно было произойти свидание «по душе», одним словом, совсем не то, что вышло на самом деле. Он стал искать кого-то глаза-

ми и, наконец, обратился с каким-то вопросом, кажется, к Гаршину или Успенскому, с которыми был знаком раньше. Ему указали в дальний угол, где сидело несколько человек из «молодой» литературы. Проходя мимо к выходу, он любезно и благожелательно пожал нам руки, сказал каждому по несколько лестных слов, дав понять, что он слышал уже нечто «о молодых талантах», и попрежнему торжественно удалился. Мы были решительно огорчены всей этой торжественностью, которой никак не могли и предполагать.

Кажется, на другой или на третий день ко мне приходит Г. И. Успенский.

– Это черт знает что вышло! – говорит он, – это совсем невозможно. Я слышал, что Тургенев сам остался недоволен, что все так случилось. Поедемте сейчас к нему, поговорим с ним и, кстати, условимся насчет нового, уже настоящего свидания у кого-нибудь из нас. Только поедем пораньше, чтобы застать его на свободе, пока еще никто на него не налетел из поклонников.

Мы поехали часов около одиннадцати. Тургенев остановился в отеле на Морской. Он

занимал довольно большой и богатый номер. Мы застали его за чаем, свежего и бодрого, уже изящно, хотя и по-домашнему одетого в легкое длинное пальто. Он тотчас же разговори́лся с нами очень весело и оживленно.

– Да, да, – говорил он, – мне это было ужасно неприятно, что тогда собралось так много постороннего народа... Но как же бы нам это устроить лучше, по-домашнему?

Успенский предложил собраться у него как-нибудь вечером, хотя при этом предупредил, что находит это в одном отношении не совсем удобным: его квартира на третьем этаже, и для Тургенева будет, может быть, совсем трудно взобраться туда. Но ничего нельзя было придумать лучше, так как ни у кого из нас не оказалось квартиры ниже третьего этажа. Тургенев предупредительно заверил, что это для его ног еще вовсе не так высоко и при помощи палки он легко взберется. Мы уговорились относительно дня и часа нашего нового свидания.

– Мы очень рады, – сказал Успенский, – что, кажется, никто еще у вас не был и мы застали вас одних.

– Вы думаете? – засмеялся Тургенев. – Напрасно. Только что перед вами у меня была одна барынька, большая моя поклонница, и мы уже успели решить с нею немало важных литературных вопросов, хотя бы, например, о том, как теперь надо писать романы. Она сама писательница, мне кажется, у нее есть талант... но она затрудняется, видите ли, насчет содержания и спрашивает меня, что бы я ей посоветовал изобразить, На какой тип обратить внимание, какая тема была бы интереснее... Довольно, знаете, затруднительно отвечать на такие вопросы... Но мне пришла в голову счастливая мысль. «Знаете, что бы я посоветовал, сударыня, – сказал я, – вместо того чтобы нам, романистам, пыжиться и во что бы то ни стало выдумывать „из себя“ современных героев, взять, знаете, просто самым добросовестным образом биографию (а лучше, если найдется, автобиография) какой-нибудь выдающейся современной личности и на этой канве уже возводить свое художественное здание. Конечно, при условии, что из этого не выйдет „личностей“!..» Как вам кажется эта мысль? Я сказал ее барыньке вме-

сто шутки, а теперь мне думается, что она может иметь за себя некоторое серьезное основание.

Мы согласились с ним и попросили его развить свою мысль.

– Да ведь это действительно верно! Посмотрите сами, разве наше время не представляет целый десяток в высшей степени оригинальных и глубоких по своим психическим свойствам личностей?.. Да какая же беллетристическая «выдумка» может сравниться с этой *подлинной* жизненной правдой. Вот хотя бы взять недавно умершего писателя Слепцова... Говорят, была преоригинальная личность... А других, других сколько – не чета Слепцову!

Тургенев воодушевился, повидимому его самого заинтересовала новая мысль, и мы могли ожидать продолжения очень интересного разговора, как вдруг звонок.

– Входите! – кричит Иван Сергеевич.

– Вас ли мы видим, Иван Сергеевич, опять в наших местах! – захлебываясь, залпом выпаливает запыхавшийся поклонник, врываясь в номер.

– Здравствуйте!.. Очень рад вас видеть... Мы, кажется, виделись с вами случайно в Париже?..

– Как же, как же!..

Но не успел еще гость высказать своих «приятных» воспоминаний о встрече с Иваном Сергеевичем, как уже второй звонок.

– Мы ли вас видим, Иван Сергеевич! – кричит новый поклонник, неистово потрясая руки Тургенева и умиленными глазами впиваясь в его лицо.

– Садитесь, садитесь! Очень рад, – говорит Тургенев.

– Ну, значит, достаточно, – шепчет мне Успенский. – На нынешний раз и того довольно, что успели переговорить... Теперь уж basta – он в плену! Поедем.

Мы еще раз напомнили Тургеневу о нашем уговоре и распрощались.

В назначенный вечер нас собралось у Г. И. Успенского человек более десяти, струдившись в его маленьком зальце за обыкновенным раздвижным обеденным столом. К назначенному часу явился и И.С. Тургенев, и появление это теперь совершилось уже без вся-

кой торжественности. Это было приятно, но, увы! и теперь не произошло, кажется, того, чего так долго мы все ждали, именно того «по душе», о чем мы сильно мечтали, то есть и мы – «новое поколение» и он – маститый ветеран славного прошлого. Не могу, конечно, отвечать за других присутствовавших на этом вечере, которые, может быть, вынесли другое впечатление, но я... я не был удовлетворен, и мне казалось, что не были удовлетворены ни сам Тургенев, ни многие другие. Тургенев, быть может, наивно думал, что мы вдруг оживимся, заговорим, заволнуемся так же вольно, широко, беззаветно, как бывало это в кружках Станкевича и Белинского, а его старческому сердцу оставалось бы только таять и млеть и любовно-отечески радоваться на нас, а мы столь же наивно ждали, что вдруг он развернет перед нами свою душу, ту святую святых, в которой совершается великая тайна творческого проникновения, или по крайней мере поведает нам свои тайные взгляды на ту новь, которую, как нам думалось, он только чуточку еще затронул, робко, неуверенно, даже иногда фальшиво. О, как да-

леко было это время от тех блаженных времен, когда могли вестись эти беззаветные, бесконечные разговоры о «матерьях важных», когда юные приятели могли писать друг другу письма в десять, двадцать или более печатных листов, когда между ними царила такая же дружба, как между платонически влюбленными институтками! Многие из нас сидели по углам замкнутые, сосредоточенные, из которых каждое слово надо было тянуть клещами. И не потому, конечно, чтобы они уж так «холодны» были сравнительно со своими идеалистами предшественниками, и чтобы у них вместо «души» был пар, и чтобы они были «жестки и черствы», как то думал когда-то о Добролюбове сам Тургенев, а потому... Впрочем, вряд ли бы тогда кто-нибудь из них, а тем более сам Тургенев – в то время уже человек из далекого мира грез и художественных созерцаний, – могли понять и объяснить эти «почему». Но теперь, когда знаешь, как многие из присутствовавших там уже были отмечены неумолимой страшной судьбой, когда вспомнишь Гаршина, Левитова (хотя его там и не было, ко были подобные

ему)... самого хозяина... все это делается так понятно, так естественно. Конечно, разговоры велись, и больше всего опять-таки вел их сам Тургенев, очевидно не любивший натянутых положений, но не было, насколько мне помнится, ничего захватывающего, сильного, характерного, хотя, конечно, было немало интересного в том смысле, в каком интересно всякое «слово» знаменитого человека.

Между прочим, Тургенев все расспрашивал о «новых», «оригинальных» людях, о существовании которых он мог догадываться, но видеть и знать которых не мог. Ему, между прочим, тут же были указаны некоторые «из кавказских колонистов» прежнего еще, не «толстовского» типа. По поводу этой темы Тургенев говорил, что он сам недоволен «Новью», что это он только наметил некоторые черты, которые мог проследить по своим заграничным знакомым, что он теперь очень занят мыслью глубоко изучить это явление и что у него уже теперь имеется план изобразить русского «социалиста», именно «русского», который не имеет ничего, в главных психических основах, общего с социалистом за-

падноевропейским.

Все это, конечно, было очень интересно; но, к сожалению, вследствие головных болей, какими я страдал в то время, я не мог высидеть до конца беседы. Знаю, впрочем, что, по-видимому, особенно выдающегося ничего не произошло. «Слияние» и «примирение» состоялись само собою, насколько могли состояться, так как прежде всего в них и надобности не было: с одной стороны, Тургенев вскоре же мог убедиться из необыкновенно шумных оваций, которыми он был встречен на первом же публичном чтении¹⁶, что между самым «новейшим» поколением и им не существует уже ничего из прежних, отшедших в область преданий недоразумений, с другой – времена были настолько другие, что никому уже и в голову не приходило поднимать старые дрожжи.

А какие тогда были времена и какие они развивали в глубоко чутких натурах настроения, достаточно припомнить одного из «молодых» писателей – Гаршина и то, что с ним произошло чуть ли не через несколько дней после этого вечера.

Познакомился я с В. М. Гаршиным незадолго до выхода первой книжки нашего «артельного» журнала, куда он передал для напечатания свою «крохотную» рукопись, состоявшую всего из двух-трех четвертинок бумаги, исписанных мелким, «бисерным» почерком и заключавших в себе его известный рассказ «Attalea princeps», – это был, кажется, всего только второй его рассказ после знаменитых «Четырех дней», которые сразу создали ему известность. Эта «Attalea princeps» послужила, между прочим, поводом для одного очень характерного инцидента, о котором очень стоит здесь упомянуть.

В то время в «Отечественных записках» существовало два приемных дня в редакции: один – официально редакционный, по поне-

дельникам, днем, когда собиралась вся редакция в полном составе, с М.Е. Салтыковым во главе; в этот день главным образом и могли видаться и беседовать с Салтыковым все, имевшие до него дело. На своей квартире он принимал сотрудников редко и только в исключительных случаях, так как общих журфиксов у него не было. Для общения же сотрудников между собою и с редакторами существовали такие журфиксы в квартире Г.З. Елисеева, в помещении редакции, куда нередко появлялся и сам Салтыков, если ему было с кем «повинтить» (разговаривать на этих вечерах он, повидимому, не любил). На одном-то из таких вечеров я и познакомился с Гаршиным. Известно, какой это был мягкий, нежный, необыкновенно деликатный и застенчивый человек, застенчивый больше от своей необыкновенной нервности. Зашел разговор о нашем новом журнале; я напомнил ему об обещании дать что-нибудь для первой книжки.

– Я, конечно, очень, очень рад был бы, если бы мог, – сказал Гаршин. – Только... я... видите... пишу мало... Все у меня не выходит... Вот

попробовал... новенькую написать.

– Ну, вот и дайте!.

– Да нет... видите ли... Ничего не вышло...
Говорят, плохо... Не приняли... возвратили на-
зад... – смущенно говорил Гаршин.

– Кто не принял?

– «Отечественные записки»... Салтыков...
Да это верно!.. Я теперь сам вижу... Не следо-
вало отдавать...

– Все же вы дайте нам.

– Да как же?., как-то неловко...

– Ну, однако... дайте нам прочесть хотя...

– Хорошо... Как хотите... Я только еще про-
смотрю ее... может быть, исправлю.

Немного спустя «Attalea» появилась в пер-
вой книжке нового журнала.

Нужно сказать, что к нашей затее с «ар-
тельным» журналом опытный старец Салты-
ков относился очень скептически и все вре-
мя, пока шла организация этого дела, добро-
душно ворчал на нас и иногда даже сердито
выговаривал, что мы этой затеей только бу-
дем обессиливать «Отечественные записки»,
сами закабалимся в новую работу, а толку из
этого никакого все одно не будет. Но моло-

дось плохо верит «брюзжанью» опытных старцев; мы продолжали вести «свою линию» и только старались утешать старика, что мы своей затеей никакого ущерба ему и его делу не принесем. Однако, тем не менее, чем больше приближался час выхода в свет нашего новорождающегося литературного детища, мы все больше трусили и побаивались, как-то примет его наш старик?

Между прочим, представлять ему это новорожденное детище жребий пал на меня.

Как ни глубоко я верил в «добродушие» нашего сурового старика, однако меня не покидала мысль, что мне предстоит выдержать «крупное» объяснение.

Скрепя сердце в одно туманное петербургское утро поднялся я в квартиру Салтыкова с «детищем» подмышкой.

– Ну, здравствуйте, здравствуйте... Вижу уж, вижу! – сердито улыбаясь, встретил меня старик, кивая головой на протянутую ему мною свеженькую книжку.

– Вот, Михаил Евграфович, просим вас любить и жаловать, – проговорил я. заранее приготовленную фразу. – Принес на ваше усмотрение.

рение...

– Что усмотрение!.. – махнул он безнадежно рукой. – Говорил – не послушали, вольному воля... Хотите руки себе еще связать – ваше дело... Ну, показывайте, что у вас там, – проговорил он, начиная просматривать оглавление.

Я не спускал глаз с него. Вдруг по его лицу пробежала судорога; он сердито закричал...

– Гм... Гм... Это вы зачем же «Атталею»-то приняли?.. Это... значит... я, по-вашему, преступление сделал, что не поместил ее? А? Значит, мол, старик из ума выжил, чутье, мол потерял... так, что ли? – вдруг загремел он, повидимому действительно огорченный.

– Вы напрасно это так принимаете к сердцу, Михаил Евграфович, – говорил я, – мы решительно не думаем, чтобы эта невинная в сущности вещь могла вызвать какое-либо между нами и вами недоразумение... Написана она очень талантливо, греха в ней особого мы не видим, и для маленького журнала эта маленькая сказочка кажется вполне уместной... Другое дело – для «Отечественных записок»...

– Талантлива! Греха не видим? – заворчал опять старик. – А по-моему, это... по-моему, это – черт знает что такое! Талантлива!..

– Мне кажется, Михаил Евграфович, – говорил я, – что вы напрасно увидали в ней то, чего она не заключает в себе, вам показалось, быть может, что автор что-то проповедует...

– Да, конечно, проповедует... Фатализм проповедует... вот что-с! Самый беспощадный фатализм... губящий всякую энергию... всякий светлый взгляд на будущее... Ведь с таким фатализмом – куда же дальше идти? Ну, говорите...

– Михаил Евграфович, не найдете ли вы, что на этот рассказ можно смотреть с другой стороны, которую, как кажется, автор именно и имел в виду... В сущности чего же иного, как не безнадежного отчаяния, и можно было ожидать от хрупкого, оранжерейного существа, неожиданно заглянувшего в иной мир для жизни и борьбы, в котором вырастают и воспитываются иные силы?.. Я уверен, что именно так думал и чувствовал сам автор...

– Ну что ж, как хотите, – заговорил старик уже другим тоном. – Хотите так смотреть –

смотрите... Может быть, я и ошибся... Устарел уж... Пора мне и на смену из редакторов...

Долго еще добродушный старик говорил на эту тему, долго мне пришлось защищать перед ним новое детище и рассеивать в нем разные мрачные мысли и перспективы, которые возбуждало в нем будущее и нашего журнала и нас самих. Много было высказано им хороших мыслей по этому поводу, но я когда-нибудь передам их лучше при другом случае.[1]

А теперь я вернусь к Гаршину.

Первое мимолетное знакомство с ним, а потом инцидент с его «Attalea» – вызвало во мне сильное желание познакомиться с ним поближе и именно побеседовать «по душе».

Однажды Гаршин зашел ко мне, – я очень ему обрадовался, – я было заговорил с ним радужно, попросту... но, когда пристальнее взгляделся в его лицо, у меня вдруг перехватило горло: очевидно, он не слышал и не понимал ни слова из того, что я ему говорил; глаза его, широко открытые, смотрели странным, блуждающим взглядом, щеки горели. Он взял меня за руку своей холодной и влажной.

– Нет, не говорите... Все это ужасно, ужасно! – проговорил он.

– Что ужасно? – в изумлении спросил я, так как ничего ужасного совершенно не было в том, что я ему говорил.

– Нет, не говорите лучше... Я не могу... Надо все это остановить... Принять все меры... – И он боязливо сел в угол.

В это время вошел другой знакомый, я занялся с ним и не заметил, когда исчез Гаршин из комнаты. Через несколько времени входит прислуга и передает, что «барин» сидит на лестнице и что, должно быть, ему «плохо». Я бросился туда. Гаршин сидел в одном сюртуке на ступеньках лестницы, несмотря на мороз. Когда я его окликнул, он, с улыбкой провинившегося ребенка, взглянул на меня и заплакал. Я привел его в комнату.

– Это ничего, ничего... Это так... нервы, – говорил он. – Там у меня в пальто есть пузырек...

Я нашел ему пузырек с какими-то каплями. Он выпил и, повидимому, успокоился.

– Ну, теперь надо идти, – сказал он.

– Куда же вы? Подождите еще немного...

– Нет, нет... надо... Надо непременно к одному знакомому...

И он ушел.

На другой день приходит один из наших общих знакомых и взволнованно спрашивает:

– Не видали Гаршина?.. Был он у вас? Когда? Я сказал.

– Ведь он пропал... Его два дня уже не было дома... Я рассказал о его странном поведении у меня. Товарищ снова бросился на поиски.

На следующий день Гаршин нашелся: где и как, я уже теперь хорошо не помню; кажется, сам явился к себе домой. Он был болен и никуда не выходил. Только спустя уже порядочное время удалось выяснить, что с ним произошло. Выйдя от меня, он отправился к одному своему знакомому, кажется чиновнику какого-то министерства, не застал его дома, написал ему записку и, оставив свое легкое пальто (я припомнил, что он в нем именно приходил ко мне), надел его «важную» богатую шубу и ушел. Оказалось, что он, наняв лихача, в этой важной шубе подкатил к подъезду дома графа Лорис-Меликова и позвонил,

несмотря на поздний час (кажется, было около 9 час. вечера). Изумленный швейцар не решил его впустить, но, видя такую «важную» шубу и притом настойчивое требование видеть графа «по очень экстренному делу», лакей решил доложить. Граф был дома и принял Гаршина. Что произошло между ними – никому в подробностях неизвестно.[2]

После того Гаршин болел очень долго.

Опубликовано в сборнике «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам», М. 1897.

Оригинал

здесь:

http://dugward.ru/library/turgenev/zlatovratskiy_turgenev.html

Примечания

В конечном результате между обоими журналами скоро установились самые благодушные отношения, а рассказ Гаршина был единственным поводом к возникшему недоразумению. Приведенный же эпизод навсегда запечатлел во мне симпатичный образ сурово-добродушного идеального редактора-ригориста.

[^^^]

После таинственно передавали, что все это произошло почти накануне приведения в исполнение приговора по делу Млодецкого. Рассказывали, что будто бы Гаршин даже на коленях умолял графа об отмене исполнения приговора.

Было ли это действительно так, я лично не знаю, так как говорить с самим Гаршиным по этому поводу мне уже не пришлось.

[^^^]